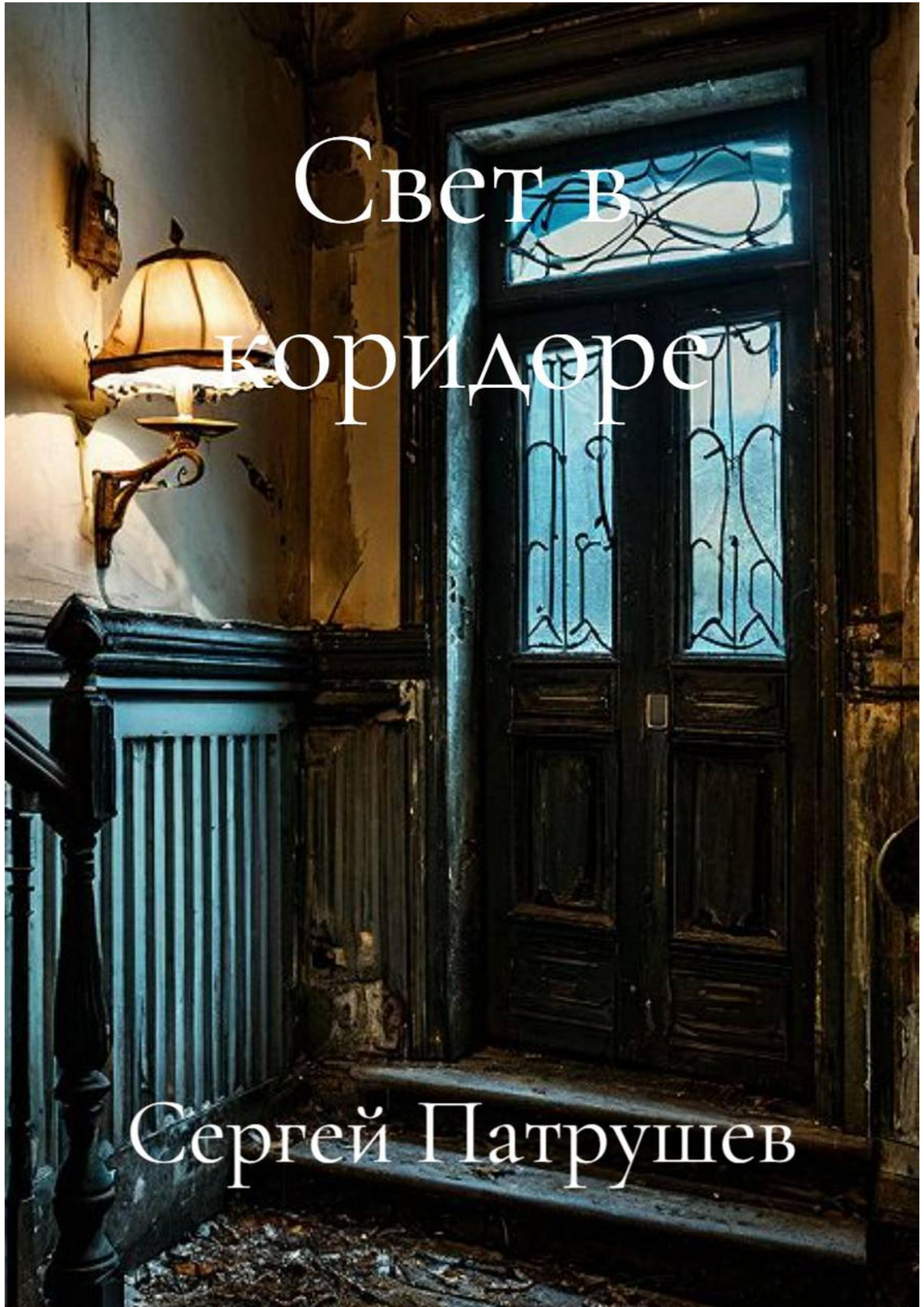


A photograph of a dilapidated hallway. On the left, a wall-mounted lamp with a warm, yellowish glow is attached to a peeling wall. Below it, a dark metal railing is visible. In the center, a dark wooden door with decorative glass panels and ironwork is set into a worn frame. The floor is covered in debris and dust. The overall atmosphere is one of decay and mystery.

Свет в коридоре

Сергей Патрушев

Сергей Патрушев
Свет в коридоре

«Автор»

2026

Патрушев С.

Свет в коридоре / С. Патрушев — «Автор», 2026

В старом доме, где время застыло в запахе сырой штукатурки и скрипе рассохшихся половиц, единственной константой остается тусклая лампа на лестничной клетке. Для безымянного рассказчика, давно утратившего вкус к жизни, она становится молчаливым божеством, свидетелем его одиночества, но однажды вечером свет впервые за много лет прерывисто мигает и привычный ритуал превращается в навязчивое расследование. Кто ходит за дверью, если соседи давно съехали? Почему нить, натянутая поперек пролета, остается целой, а шаги звучат все ближе? Герою предстоит понять: лампа фиксирует не движение - она хранит невысказанные слова, утраченные надежды и подавленную боль. Самый яркий всплеск, заставляющий её дрожать, исходит от него самого. Свет в коридоре - это камерная история о тоске и прощении, где граница между реальностью и мистикой стирается, а ответы приходят не через действие, а через наблюдение.

© Патрушев С., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Желтый сумрак	5
Гл	15
Конец ознакомительного фрагмента.	16

Свет в коридоре

Глава 1. Желтый сумрак

Тишина в этой квартире была не просто отсутствием звуков — она была самостоятельным, осязаемым веществом, имеющим свою плотность, свой запах и даже, как мне иногда казалось, свой цвет. Она скапливалась по углам, как свалившаяся за десятилетия пыль, как паутина, которую забыли смести, как сама память о людях, когда-то населявших эти комнаты. Она впитывалась в тяжелые портьеры, выцветшие до состояния больничной простыни, в эти складки ткани, которые хранили в себе целые геологические эпохи молчания. Она оседала на языке металлическим, отдающим ржавчиной привкусом старых водопроводных труб, проложенных еще до войны, до революции, до того, как этот дом успел состариться и одряхлеть. Я давно перестал различать тонкую, почти призрачную грань, где заканчивается тишина внешнего мира и начинается тишина внутренняя, та, что живет у меня в голове. Они сплелись в единый гул, низкий и непрерывный, похожий на шум далекого прибоя или на гудение высоковольтных проводов за городом — звук, знакомый каждому, кто слишком долго прожил в добровольном заточении собственного одиночества. Но, положив руку на сердце, мне это даже нравилось. Нравилась эта стерильная чистота пустоты. В тишине, если прислушаться, есть честность, граничащая с жестокостью, — она ничего от тебя не требует, ничего не обещает, не утешает и не обманывает. Люди врут беспрестанно, виртуозно, сами того не замечая. Слова — это звуковая шелуха, призванная скрыть зияющую пустоту непонимания. Даже мое собственное сердце врёт, пропуская удары при случайном, выуженном из подсознания воспоминании о чьем-то лице, о чьем-то голосе, о летнем дожде, пахнущем мокрым асфальтом и чужой близостью. А тишина — нет. Она просто существует, как существует гранитная скала или бескрайняя ледяная пустыня. Это фон. Единственно возможный фон, на котором я могу существовать, не испытывая мучительного стыда за собственную неспособность быть частью шумного, красочного, живого мира за окном.

Мой день умирал долго и мучительно, словно старый зверь, не желающий уходить в небытие. Он цеплялся за каждый выступ, за каждую трещину в облупившемся подоконнике. Солнце — если его тусклую, размытую пелену за невымытыми, затянутыми известковой пылью стеклами вообще можно было назвать этим гордым словом — уползло прочь медленно, неохотно, оставляя после себя липкий, влажный серый сумрак, который, казалось, можно было потрогать руками. Я сидел в продавленном кресле, обитом зеленым велюром — материалом, который, кажется, обладал собственной, зловещей формой памяти и умел накапливать не только физическое тепло, но и человеческую тоску, разлитую в воздухе, как отраву. Если бы существовал прибор, способный измерить эмоциональную тяжесть предметов, это кресло зашкалило бы. Оно хранило отпечатки всех моих бессонных ночей, всех книг, прочитанных и тут же забытых, всех вздохов, растворявшихся в спертom воздухе комнаты. Я смотрел, как тени в комнате становятся длиннее, как они выползают из углов, словно некие хищные, бесформенные амебы, и постепенно пожирают пространство. Это был ритуал. Каждый вечер, без единого исключения, я позволял комнате умереть, чтобы позже, когда на улице окончательно стемнеет, она возродилась в ином, искусственном, куда более важном для меня свете.

Работа? О да, это слово все еще существовало где-то на периферии моего сознания, как далекий, раздражающий зуд. Где-то там, за пределами толстых кирпичных стен этого дома, за тройным кольцом бульваров и бесконечных автомобильных пробок, существовал офис —

серое, безликое помещение, заставленное столами и мониторами. Там были какие-то люди, чьи имена я не мог запомнить, даже если бы захотел. Их лица, стертые и невыразительные, сливались в одно мутное пятно, как пейзаж за окном мчащегося поезда. Но стоило мне переступить порог квартиры, затворить за собой массивную дубовую дверь, обитую потемневшим от времени дерматином с проступившей в нескольких местах ватной подкладкой, как внешний мир схлопывался с почти осязаемым хлопком, словно мыльный пузырь. Его просто не было. Я не помнил лиц коллег, не помнил содержания совещаний, не помнил, что ел на обед. Вся информация, касающаяся социума, перемалывалась жерновами моего безразличия в серую, неаппетитную труху и оседала где-то на дне памяти, чтобы никогда не быть востребованной. А любовь? О, это слово вызывало у меня теперь лишь кривую, болезненную усмешку — ту самую, что появляется на лице, когда видишь старую, нелепую фотографию, на которой ты юн, глуп и полон несбыточных надежд. Когда-то, в другой жизни, я, наверное, пытался играть в эту игру по общепринятым правилам. Цветы, купленные впопыхах у метро, бессвязные признания, попытки уместить свою бескрайнюю, хаотичную вселенную в узкие, жесткие рамки чужого сознания. Но каждый раз, наткаясь на стену глухого непонимания, на поверхностный блеск чужих глаз, отражающих только самих себя, я отступал с новыми ранами. Я понял тогда, что люди не ищут глубины, не ищут сути, — они ищут зеркала. Им нужно видеть в глазах другого собственное отражение, желательно приукрашенное, идеализированное. А я зеркалом быть не умел. Я был чем-то совершенно иным. Я был черной дырой, сингулярностью, бездной, которая поглощает любой свет и ничего не возвращает обратно. И, странное дело, меня это абсолютно устраивало. В этом было своеобразное, извращенное спокойствие.

За окном, в глубине двора-колодца, похожего на глубокую бетонную могилу, зажглась первая неоновая вывеска. Ее розовый, болезненный, какой-то воспаленный свет резанул по сетчатке, на мгновение вырвав из вязкого мрака очертания ободранных обоев с выцветшим, едва различимым узором в виде дубовых листьев. В углу, под самым потолком, проступило огромное желтое пятно — след давнего, эпического потопа от нерадивых соседей сверху. Пятно имело причудливую форму, напоминавшую карту какого-то неизвестного, неоткрытого континента. Я знал эту карту досконально, как старый картограф знает свои чертежи. Вот этот изгиб, похожий на береговую линию, — здесь отслаивается штукатурка. А это темное пятнышко в центре — небольшой грибок, медленно, но неумолимо пожирающий старую бумагу. Я изучил каждую трещинку на облупившейся лепнине, каждый вздувшийся пузырь краски, каждую неровность на стене. Это была топография моего одиночества, его подробная, скрупулезно вычерченная карта, и я, как последний ее обитатель, знал здесь все ориентиры.

Дом был стар. Ему было лет сто, не меньше, и он дышал. Не метафорически, не образно, а вполне реально. Он жил своей, скрытой от посторонних глаз, тайной жизнью. Фундамент его покоился на илистой, пропитанной грунтовыми водами почве, стены из дореволюционного красного кирпича впитали в себя миазмы столетия. Стены здесь не просто ограждали от улицы — они обладали памятью, тяжелой, темной памятью камня. Иногда, в самые глухие, предрасветные часы, когда кажется, что время остановило свой бег и мир затаил дыхание, я просыпался от собственного крика. самого страшного крика — беззвучного, взрывающего мозг изнутри ослепительной белой вспышкой паники. В такие моменты я, пытаясь унять колотящееся сердце, прижимался ладонью к холодной, чуть влажной штукатурке и чувствовал, как стена дрожит. Дом вибрировал, как гигантский улей, как нутро какого-то исполинского механизма, продолжающего работать вхолостую. Или как утроба древнего, дремлющего чудовища, в бесконечном, извилистом пищеводе которого я застрял. Запах здесь был под стать этому ощущению — сложный, многослойный, почти археологический. Пахло сырой известкой, этой вечной сыростью старых фундаментов, смешанной с едва уловимым, едким ароматом кошачьей

мочи, доносившимся с черной лестницы, и почему-то сушеными грибами — этот запах источала старая деревянная антресоль, изъеденная жучком-древоточцем. Пахло вечностью, которая слегка, самую малость, подгнила.

Но апофеозом этого мира, его сакральным, мистическим центром, была не моя квартира, которую я воспринимал лишь как временное пристанище, как тамбур, как предбанник перед главным залом, а лестничная клетка. Моя квартира была лишь физической оболочкой, местом для сна и приема пищи. Настоящая жизнь — если это медленное тление вообще можно было назвать жизнью — происходила там, за тяжелой, обшарпанной, разохшейся дверью с облупившейся коричневой краской и номером «14», кнопка звонка которой была вырвана с мясом еще до моего рождения, оставив после себя лишь черную дыру и торчащие из нее разноцветные проводки, похожие на засохшие сосуды. Мой ежевечерний исход в подъезд не был продиктован какой-либо практической необходимостью. Мне не нужно было проверять почтовый ящик, доверху забитый рекламными листовками и квитанциями, которые я никогда не оплачивал вовремя. Я не курил, не делал вид, что кому-то звоню, не ждал гостей. Это был ритуал в чистом, дистиллированном виде, религиозный акт поклонения чему-то невыразимому, смысл которого был давно и безнадежно утерян в толще времени, но форму которого я обязан был соблюдать с неукоснительной точностью. Как древний жрец, забывший имя своего бога, но помнящий каждое слово молитвы.

Я встал. Кресло жалобно, с каким-то старческим надрывом скрипнуло пружинами, прощаясь со мной до утра. Ноги, затекшие от долгой неподвижности, слушались плохо, словно чужие протезы. Я не стал включать свет в прихожей — в этом не было нужды. Маршрут был выверен до миллиметра, до долей секунды. Два шага до разохшегося комода красного дерева, осторожно обогнуть торчащую половицу, которая при малейшем нажатии предательски взвизгивает, словно раздавленное животное, затем нащупать в темноте холодную, чуть маслянистую сталь дверной цепочки. Щелчок замка — тяжелый, основательный, сработанный еще в те времена, когда вещи делали на совесть, — прозвучал как ружейный выстрел в абсолютной, вакуумной тишине квартиры. Я медленно потянул дверь на себя, и в лицо мне пахнуло сквозняком — холодным, влажным, пахнущим пылью веков и застоявшимся, въевшимся в стены табачным дымом тех, кто жил здесь за долго до меня. Я вышел на площадку. Вот оно, жёлтое.

Мир за дверью моей квартиры всегда, в любое время суток, был погружен в этот цвет. Естественный солнечный свет сюда не проникал принципиально, по законам физики и архитектуры — окна лестничных пролетов выходили не на улицу, а на глухую, покрытую многолетней копотью кирпичную стену соседнего флигеля, расстояние до которой можно было измерить вытянутой рукой. Казалось, дом отвернулся от мира, спрятал свое лицо, предпочтя дышать через эту каменную щель. Поэтому здесь царил вечный, неизменный, искусственный день. Источником этого дня, его первопричиной и божеством была лампа.

Она висела под самым высоким потолком, на длинном, многократно скрученном и перекрученном, обмотанном синей изолянтной проволоке, который уходил в непроглядную черноту лестничного колодца высоко вверх. Пыльный стеклянный абажур в форме перевернутого тюльпана, когда-то, наверное, девственно-белого, а ныне — цвета старой слоновой кости, покрытый тончайшей сетью микроскопических трещин, источал тусклое, удушливое, почти осязаемое свечение. Лампочка внутри была слабой, ватт на сорок, не больше, от силы, но в этой крошечной, погребальной тьме подъезда она сияла, как маленькое, рукотворное солнце, как маяк на краю света. Свет был густой, тягучий, материальный, как яичный ликер, как расплавленный янтарь. Его нельзя было просто увидеть. Его можно было пить, черпать пригоршнями, в нем

можно было утонуть, захлебнуться, раствориться без остатка. Я чувствовал его кожей, он проникал сквозь поры, согревая не столько тело, сколько ту темную, израненную субстанцию, что заменяла мне душу. Это был цвет застывшего времени, цвет старой фотографии, цвет тоски по тому, чего никогда не было и не будет.

Я медленно, почти торжественно подошел к перилам. Дерево, темное, потрескавшееся, было отполировано до зеркального, костяного блеска ладонями многих поколений жильцов, которые так же, как я, стояли здесь, вглядываясь в бездну пролета. Оно не было холодным, как можно было ожидать от мертвой материи. Оно было удивительно теплым, почти живым, словно кожа старого, верного пса. Я положил на него обе руки, чувствуя ладонями каждый сучок, каждую царапину, и медленно перегнулся вниз, в черный колодец пролета. Там, внизу, клубился первозданный мрак, абсолютная тьма, которую лишь слегка разбавляли желтые конуса света, падающие с других, чужих этажей. Где-то далеко, кажется, на уровне второго этажа, вечно горела тусклая, мертвенная синяя лампа, но ее болезненный, электрический свет не мог соперничать с моим абажуром. Мой этаж был четвертым. Золотая середина. Самое лучшее, самое правильное место в иерархии этого дома. Не слишком высоко, чтобы чувствовать мучительную, головокружительную оторванность от земли, и не слишком низко, чтобы быть раздавленным, сплюснутым невероятной, физически ощутимой тяжестью верхних этажей.

Я стоял и смотрел на лампу. Шли минуты, складываясь в получасы, а получасы, возможно, в часы. Время в подъезде, вне моей квартиры, текло совершенно иначе, по каким-то своим, неведомым законам. Оно не подчинялось стрелкам часов, застывшим на моем запястье. Оно подчинялось частоте моего пульса, ритму моего дыхания и тихому, едва уловимому гудению вольфрамовой нити накаливания. В этом свете, в этом густом желтом киселе, было растворено всё, чего мне так мучительно не хватало в жизни. Определенность. Постоянство. Незыблемость. Лампа не лгала, не предавала, не требовала объяснений. Она не обещала того, чего не могла дать. Она просто горела. День за днем, ночь за ночью, год за годом, десятилетие за десятилетием. Она была единственной константой в мире, где даже гравитация, как мне иногда казалось в минуты особо острого отчаяния, давала сбой. Она горела, когда я уходил на работу и когда возвращался. Она горела, когда я болел. Она горела, когда я был счастлив — счастлив! — в той, другой, почти забытой жизни. Она будет гореть, когда меня не станет. Эта мысль приносила странное, извращенное успокоение.

Мне нравилось думать, что мы с ней похожи. Две гниющие души в старом доме. Она изолирована тонкой, хрупкой стеклянной колбой от агрессивной, губительной внешней среды — иначе кислород, этот вездесущий окислитель, сожжет ее нить за долю секунды. Я тоже изолирован — собственной кожей, собственной неспособностью к контакту. Она накаляется до ослепительного белого каления, чтобы давать этот тусклый, жалкий свет, но сам свет — это лишь побочный продукт, ничтожный процент энергии, выделяемой в пространство. Остальное — тепло, которое бессмысленно и бесплодно рассеивается в холодной пустоте лестничной клетки. Я тоже тратил всего себя без остатка на то, чтобы просто существовать, просто поддерживать этот тлеющий огонек сознания, и на выходе получал лишь слабое, едва заметное свечение, видимое только мне одному. Мы оба — энергия, уходящая в никуда, энтропия, облеченная в материю.

Я часто думал о том, чья рука вкрутила эту лампу в патрон. Эта мысль завораживала меня своей безответностью. Кто-то из давно умерших жильцов, чей прах уже смешался с землей? Может быть, дворник Егорыч, легендарная личность, чью каморку на первом этаже давно заколотили крест-накрест досками, и оттуда теперь тянет ледяным холодом и плесенью? Или

безымянный монтер в кожаной робе, с прокуренными желтыми усами, который лазил по этим чердакам в те времена, когда электричество еще было чудом, магией, а не обыденностью? Я живо, в мельчайших деталях представлял, как он, насвистывая какой-то вальс, вкручивает ее, еще блестящую, пахнущую заводской смазкой и стеклом, в этот самый патрон. Он не знал, что делает. Он не ведал, что творит священнодействие. Он не знал, что создает божество, идола для поклонения. Он не мог знать, что через сто лет какой-то странный, потерянный человек будет стоять здесь, в этом самом месте, держаться за эти самые перила, как утопающий держится за соломинку, и молиться на электрический свет, как дикарь молится на солнце.

«Что есть вера? — размышлял я, глядя на расплывающееся в пыльном мареве световое пятно. — Вера — это уверенность в невидимом и ожидание несуществующего. Так написано в книгах. Но я вижу ее. Она реальна. Она существует. Ее нельзя отрицать. Она греет мои руки, если поднести их слишком близко к горячему стеклу. Ее свет делает видимыми мириады мельчайших пылинок, танцующих в воздухе какой-то свой, замысловатый, броуновский танец. Эти пылинки — мы, люди. Хаотичный, бессмысленный танец частиц, который обретает форму, структуру и видимость смысла только в луче света. Убери свет — и мы просто грязь, медленно и неотвратимо оседающая на пол, в плинтуса, в щели, откуда нас потом выметут веником и выбросят в мусоропровод. Свет дает нам бытие. Без наблюдателя мы ничто».

Где-то далеко внизу, наверное, у парадной двери, выходящей в сырой, засыпанный окурками двор, оглушительно хлопнула входная дверь. Тяжелая, пружинная. Звук, похожий на артиллерийский залп, эхом прокатился по бетонному стволу подъезда, многократно отражаясь от стен, и замер, обессилев, где-то у моих ног. Кто-то вошел в наш склеп. Я не шелохнулся, оставаясь все в той же позе, перегнувшись через перила. Я редко сталкивался с соседями лицом к лицу, хотя за годы вынужденного сосуществования досконально изучил их шаги. Старуха с третьего этажа, хранительница вечного запаха жареного лука, шаркала подошвами по ступеням, как грубой наждачной бумагой по камню — медленно, с придыханием. Парень с пятого, вечно небритый и злой слесарь с мутными глазами, стучал каблуками отрывисто и агрессивно, словно вколачивал невидимые гвозди в бетонные ступени, торопясь добраться до своей берлоги и забыться пьяным сном. Сейчас шаги, которые я услышал, были совершенно другими — легкими, почти невесомыми, очень быстрыми. Казалось, по лестнице поднимается не человек, а чья-то тень, бесплотный дух. Женщина или, может быть, подросток. Но шаги не стали приближаться к моему этажу. Они оборвались где-то ниже. Хлопнула дверь квартиры на втором этаже, лязгнула щеколда. Я облегченно выдохнул, сам не заметив, что задерживал дыхание. Я не любил, когда мое уединение нарушали, когда кто-то посторонний вторгался в этот храм света и разрушал его сакральную тишину звуками человеческого присутствия.

Свет лампы никогда не был абсолютно ровным, стерильным, как свет современных люминесцентных трубок. Нет. В этом доме, с его древней, дышащей на ладан электропроводкой, напряжение гуляло постоянно, скакало, пульсировало, как кровь в сосудах тяжелобольного. Лампа жила в своем собственном, уникальном ритме: она тихо, почти неслышно гудела на одной, утробной ноте, и этот гул, этот инфразвук, был сродни тибетской мантре «Ом», пронизывающей мироздание. Если долго, не моргая, до рези в глазах вглядываться в раскаленную спираль, можно было заметить мельчайшую, почти неуловимую вибрацию вольфрама, судорожное дрожание металла, по которому бегут, как живые, невидимые электроны. Иногда я представлял, что этот свет — это звук, застывший в доступной глазу частоте. Звук, который поет мир, когда окончательно умолкает. И я слышал его.

Сегодня лампа горела как-то особенно пронзительно, с какой-то вызывающей, почти агрессивной яркостью. Или мне это только казалось из-за контраста с темнотой, сгустившейся в моей квартире? В подъезде было необычно душно, несмотря на то, что за окнами стояла глубокая, слякотная осень. Сырость, казалось, сгустилась до состояния холодного, липкого желе. Я поднял голову и вдруг заметил странную деталь, которая заставила меня нахмуриться: на абажуре не было обычного, привычного глазу толстого слоя серой пушистой пыли. Стекло сияло матовой, первозданной белизной, словно его только что протерли тряпкой с уксусом. Но этого не могло быть. Я знал это наверняка. В этом доме годами, десятилетиями не делали ремонта и, уж тем более, никто никогда не мыл плафоны. Это была бы насмешка над самим духом этого места. Может быть, сквозняк? Но сквозняк не сдувает пыль, он лишь переносит ее с места на место. Странное, забытое чувство тревоги кольнуло где-то под ложечкой, как заноза. Чувство, похожее на ту смутную, беспричинную панику, которая охватывает при пробуждении в незнакомом месте, когда ты не сразу понимаешь, кто ты и как здесь оказался.

Я усилием воли отогнал эту мысль. Мало ли. Показалось. Зрение уже не то, что в двадцать или даже в тридцать лет. Я потерял переносицу, прогоняя остатки дневного морока, и прислушался к звукам дома. Дом жил. Он гудел. Где-то в темных, ржавых недрах стояка, замурованного в стену, с бульканьем и всхлипами журчала вода, убегая в канализацию. Наверху, на пятом этаже, монотонно и тяжело скрипели половицы под чьими-то тяжелыми, размеренными шагами. Ходят из угла в угол. Как маятник. Мои соседи. Я не знал их в лицо, хотя мы, вероятно, сталкивались в лифте — да, в этом доме, как ни странно, был лифт, страшная, дребезжащая клеть, обитая изнутри фанерой и затянутая ромбической металлической сеткой, — но мы никогда не разговаривали. Мы отводили глаза, старательно делая вид, что не замечаем друг друга. В этом доме жили люди-тени. Анонимы, инкогнито. Те, кто не хочет, чтобы их разглядывали, узнавали, запоминали. И меня это более чем устраивало. Мне не нужны были их лица, их истории, их голоса. Мне нужен был только их звуковой фон. Шаги, глухой кашель за стеной, звук спускаемой воды — этот набор звуков создавал хрупкую, почти эфемерную иллюзию того, что я не один во вселенной, что я все еще часть человеческого улья. Хотя, если честно, какая разница? Даже если они есть, эти другие, связь с ними невозможна в принципе. Мы смотрим на одну лампу, но видим абсолютно разный свет, и наши вселенные не пересекаются.

Я снова перевел взгляд на абажур. Теперь, после того как я заметил его неестественную чистоту, свет казался мне уже не теплым, уютным желтым, а скорее тревожным оранжевым, с каким-то болезненным, медным отливом пожаров и катастроф. Нить накаливания внутри стеклянной груши провисла чуть больше обычного, описывая геометрически идеальную, почти чертежную параболу. Я знал эту лампу, как знают лицо матери. Я знал каждую точку на ее стекле, каждый изгиб спирали. И любое, даже самое микроскопическое, незаметное стороннему взгляду изменение в ее структуре, в ее свечении, вызывало у меня беспокойство, сродни физической боли. Это как однажды заметить новую, незнакомую родинку на коже любимой женщины. Вроде бы мелочь, крошечное пигментное пятнышко, а сердце уже сжимается в ледяной тисках дурного предчувствия: а вдруг это что-то плохое, что-то необратимое, начало конца?

Я глубоко вздохнул, стараясь унять нарастающее волнение. Воздух в подъезде был спертым, ватный, им было трудно дышать. Я вдруг с предельной ясностью осознал, что страшно, смертельно устал. Не физически — физическая усталость была бы благословением, — а как-то метафизически. Устал стоять, устал смотреть, устал ежедневно искать смысл в хаотичном танце вольфрамовой спирали. Эта усталость навалилась внезапно, как бетонная плита рухнувшего перекрытия. Плечи сами собой опустились, спина сгорбилась, дыхание стало поверхност-

ным. Я почувствовал себя старым. Бесконечно, непростительно, чудовищно старым. Мне еще не было и сорока, но душа моя, казалось, помнила еще мезозойскую эру, помнила холод и мрак до сотворения электричества, помнила первобытный ужас ночи. Я помнил, как инстинкт гнал человека к огню, спасаясь от саблезубых теней. И вот я, потомок этих людей, жмусь к свету, как мотылек, спасаясь от чего-то бесформенного, безглазого и безымянного, что прячется за моей спиной.

Я решил, что на сегодня хватит. Ритуал завершен. Порция света получена, дань уважения его величеству Электричеству отдана. Пора возвращаться обратно в склеп, в кресло, к книге, которую я не читаю, а просто держу в руках, чтобы мои пальцы не окончательно забыли, какова на ощупь бумага. Я развернулся спиной к лампе, отпустив теплые, гладкие перила. Дерево едва слышно скрипнуло, прощаясь со мной. Дверь в мою квартиру была все еще приоткрыта, и из черного проема тянуло могильным холодом и запахом остывшего, кислого чая. Я сделал шаг по направлению к двери. Второй. Поднял руку, намереваясь взяться за дверную ручку...

В этот самый момент мир погас полностью. Всего на ничтожную, неизмеримую долю секунды. Миг, который невозможно засечь никаким секундомером, который короче, чем удар сердца. Лампа мигнула. Пространство подъезда схлопнулось в абсолютную, угольную, перво-родную черноту, такую плотную, что она, казалось, давила на барабанные перепонки, чтобы тут же, без всякого переходного периода, снова взорваться желтым, пульсирующим сиянием. Это произошло так быстро, что любой нормальный человек не должен был успеть это зафиксировать. Мозг должен был проигнорировать этот сбой, списать его на усталость зрительного нерва. Но я зафиксировал. Потому что я знал этот свет. Я не просто видел его — я чувствовал его кожей, я слышал его гул спинным мозгом. И я знал с абсолютной, ледящей кровью уверенностью: она погасла именно в тот момент, когда я отвернулся. Когда я перестал на нее смотреть. Когда между нами прервался зрительный контакт.

Моргнула. Вот так просто. Как усталый, заплывший глаз. Как перегорающая неоновая вывеска на окраине. Погасла, чтобы тут же зажечься вновь, сделав вид, что ничего не произошло.

Я замер на месте, превратившись в соляной столб, так и не донеся ладонь до холодной металлической ручки. В висках тяжело, гулко застучала кровь, отсчитывая мгновения. По позвоночнику, от копчика к затылку, пробежал неприятный, электрический холодок — тот самый, какой бывает, когда в летний зной спускаешься в ледяной, сырой подвал. Я медленно, очень медленно, преодолевая внезапно налившуюся свинцом шею, повернул голову через плечо. Я боялся того, что могу увидеть. Или, наоборот, не увидеть.

Лампа горела. Ровно, спокойно, умиротворяюще. Никакой дрожи, никаких признаков перебоев в сети. Абажур висел неподвижно... или нет, не висел. Он висел абсолютно статично, без малейшего намека на покачивание, что само по себе было странно, ведь на лестнице всегда гуляли дикие сквозняки. Я смотрел на нее широко раскрытыми глазами, не мигая, пытаюсь уловить малейший отголосок сбоя, любой намек на неисправность. Тишина. Только монотонный, утробный гул резонанса в старых, дышащих на ладан проводах.

— Ерунда, — сказал я вслух, и мой собственный голос показался мне чужим, глухим и плоским, как картонная театральная декорация. — Перепады напряжения. Старая проводка. Осенние ветра. Влага.

Слова падали в зияющую пустоту лестничного пролета и гасли, не долетев даже до третьего этажа, не вызвав ни малейшего эха. Я убеждал себя, но внутри, в тайной комнате моего сознания, уже поселился холодный, липкий, иррациональный страх — тот самый, из детства, когда просыпаешься в три часа ночи от беззвучного толчка и видишь, как самый дальний, самый темный угол комнаты начинает подозрительно сгущаться, обретая антропоморфные черты. Я знал физику. Я знал теорию электричества. Если скачет напряжение, лампа мигает постоянно, пульсирует, выдает предательскую дрожь. Но она не гаснет выборочно. Она не ждет, пока ты повернешься к ней спиной. Это абсурд, противоречащий всем законам логики. Так не бывает.

Я прислушался к ощущениям, пытаюсь проанализировать их холодно и отстраненно. Нет, мне не показалось. В этом микроскопическом миге абсолютной, всепоглощающей тьмы, когда свет исчез, мне на бесконечно малую долю секунды почудилось что-то еще. Какое-то движение. Смутное, едва уловимое присутствие за спиной. Будто тьма была не вакуумом, не отсутствием фотонов, а живым, обладающим волей существом, которое выдохнуло мне в затылок свое ледяное дыхание и тут же всосалось обратно с возвращением света. Я резко, судорожно обернулся, вглядываясь в лестничный проем, ведущий наверх, к пятому этажу, к чердачной двери, заколоченной досками. Там никого не было. Только тени, сгустившиеся до чернильной, маслянистой плотности, и тусклый, ржавый отблеск оконной решетки на стене.

Лампа мигнула. Ну и что? Дом старый, упрямо, как мантру, повторял я про себя. Дому сто лет. Проводка гнилая, алюминиевая, изоляция осыпалась в труху еще при царе Горохе. Порыв сырого, пронизывающего ветра мог качнуть отсыревшие провода на вводе в подъезд. Мыши, а может, и крысы, могли перегрызть кабель где-нибудь на темном, заваленном столетним хламом чердаке. Тысяча рациональных, научно обоснованных причин. Но иррациональная, животная часть моего сознания, та, что ведаёт снами и инстинктами, рефлексам и первобытными страхами, уже сжалась в тугую, дрожащий комок и тихо, жалобно скулила где-то под сердцем.

Потому что лампа никогда не мигала. Никогда. За все годы, что я здесь живу. За все бессонные ночи, проведенные на этой площадке. За все часы, когда ветер выл так, что дрожали оконные стекла, а молнии били в соседнюю трансформаторную будку с таким остервенением, что отключали свет во всем районе. Здесь, в подъезде, свет горел всегда. Это была единственная незыблемая истина в моем жидком, размытом мире, та единственная ось, вокруг которой вращалась вселенная моего одиночества. И сейчас эта ось дала трещину. Дала сбой. Показала, что и она не вечна.

Я почувствовал, как во рту стало сухо, как в Сахаре, язык прилип к нёбу. Захотелось пить. Очень сильно, до спазма в пищеводе, до темных кругов перед глазами. Я снова, с каким-то болезненным мазохизмом, посмотрел на лампу. Теперь она казалась мне не теплым, убаюкивающим другом, не символом постоянства, а чьим-то зорким, немигающим, прищуренным глазом. Желтым, ядовитым глазом рептилии с черным, провальным зрачком вольфрамовой нити. Пыльный абажур больше не напоминал тюльпан. Воображение рисовало мне череп. Старый, выбеленный временем и кислотами почвы человеческий череп, внутри которого, в пустой глазнице, затаился хищный, внимательный, нечеловечески умный огонь. Он наблюдал за мной.

Я заставил себя усмехнуться, разорвать этот гипнотический контакт. Усмешка вышла жалкой, неискренней, больше похожей на гримасу зубной боли. Я мысленно обозвал себя идиотом, параноиком, человеком, который слишком долго сидит в четырех стенах и разговаривает

сам с собой. Нужно больше работать. Нужно выходить на улицу. Нужно выбросить из головы этот дурацкий мистицизм, эту декадентскую чушь. Но я не мог заставить себя сделать последний, решительный шаг в квартиру и захлопнуть дверь, отсекая себя от источника света. Ноги будто приросли к холодному бетону площадки, словно пустили корни. Лестничная клетка не хотела меня отпускать. Она держала меня.

Я простоял так еще минуту, другую, третью, пока мышцы не затекли от напряжения. Я смотрел на лампу в упор, не мигая, с вызовом, пока перед глазами не поплыли радужные круги и мир не начал терять четкость. Лампа вела себя идеально. Она светила ровно, безупречно, без единой запинки. И от этого было еще страшнее. Она словно притворялась. Словно поняла, что я ее подозреваю, и затаилась, прикинулась обычной лампочкой. Издевалась надо мной.

Наконец, неимоверным усилием воли я заставил себя войти в квартиру. Дверь закрылась с тем же металлическим лязгом, с каким захлопываются ворота склепа, отрезая меня от желтого сумрака. Я привалился спиной к холодному, слегка вибрирующему дерматину и шумно, судорожно перевел дыхание. Сердце колотилось как сумасшедшее, грозя проломить ребра. В прихожей было темно, хоть глаз выколи, хоть кричи «ау». Единственным источником света была тонкая, как лезвие опасной бритвы, полоска света под дверью. Этот свет, мой свет, просачивался сюда, расчерчивая старый, рассохшийся паркет на строгие геометрические сектора — черные и желтые.

Я стоял и смотрел на эту тонкую полоску света, как зачарованный. Боялся. Глупо, по-детски боялся, что сейчас она исчезнет. Что тьма с той стороны, тьма, которую я оставил за порогом, окажется сильнее. Но полоска оставалась на месте, дрожала, пульсировала в такт моему сердцу. Где-то в глубине квартиры тикали старые механические часы. Мерно, спокойно, равнодушно. Я досчитал до ста, прислонившись лбом к холодному дверному косяку. Свет горел.

Нужно ложиться спать. Завтра на работу. Завтра снова серые лица, серая клавиатура, безвкусный, горький кофе. Завтра я проснусь и забуду об этом, сотру из памяти этот эпизод, как страшный сон. Это просто усталость. Просто расшатанные нервы. Просто игра воображения.

Я прошел на кухню, не включая верхнего света, ориентируясь исключительно по памяти. Налил из-под крана мутной, пахнувшей хлоркой и ржавчиной воды и жадно, большими глотками выпил, обливая подбородок. Вода текла по пищеводу, холодная и безжалостная, возвращая меня к реальности. Я бросил взгляд в окно. Там, в черном колодце двора, было черным-черно, как в могиле. Лишь в одном-единственном окне напротив горел свет — такой же одинокий, желтый, но он был далеко. Он не грел, не утешал, он был чужим.

Я вернулся в комнату, разделся в темноте, не зажигая лампы, и рухнул в продавленное кресло, даже не расстелив постель. Спать не хотелось. Я просто сидел и смотрел в угол, туда, где днем было видно огромное желтое пятно от протечки. Сейчас там был просто мрак. Густой, осязаемый, почти живой.

Лампа в подъезде продолжала гореть. Я знал это с абсолютной точностью, даже не видя ее. Я чувствовал ее тихую, ритмичную пульсацию сквозь толщу бетонных перекрытий, сквозь слой старой штукатурки, сквозь мою собственную кожу. Она была там. Мой молчаливый страж. Мой безмолвный собеседник. Моя путеводная звезда в мире вечной ночи.

Сегодня, впервые за многие, многие годы, этот свет не принес мне обычного, привычного успокоения. Он принес с собой вопрос, который, как ядовитая капля, прожигал сознание. Что это было? Колебание напряжения в старом патроне? Или колебание чего-то иного в самой-ткани бытия, в структуре реальности, которую я привык считать незыблемой? И главное, что не давало мне покоя, — что за смутное, едва уловимое движение почудилось мне в краткой, как вспышка молнии, абсолютной тьме за моей спиной? Я гнал эти мысли. Я давил их, как давят окурки в хрустальной пепельнице, но одна, самая ядовитая и липкая, никак не хотела умирать. Она пульсировала в такт лампе за дверью, в такт моему сердцу, в такт тиканью часов. «Она ждала, пока я отвернусь. Она знала, что я уйду. Она не хотела меня отпускать».

Я сидел в темноте с широко открытыми, воспаленными глазами и ждал утра. Где-то в недрах дома, в его каменном чреве, загудели водопроводные трубы, словно старый дом прочищал свое горло перед долгим, заунывным рассказом. Ночь только начиналась, и я знал, что она будет бесконечной.

Гл

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.